

Томас Манн. Волшебная гора (завершен в 1924 г.). Отрывок

Одиннадцатый класс. Первая четверть

Преподаватель **Ксения Сергеевна Сорокина**

- *Как вы охарактеризуете политические взгляды Сеттембрини? Что для него политика и «общественная жизнь»? Когда, по мнению Сеттембрини, восторжествует идея «цивилизации»?*
- *Каким образом, по-вашему, следовало разбить «принцип косности»? К чему ведет логика истории, судя по приведенному отрывку?*
- *Против кого направлен союз Италии и Австрии?*
- *Каково отношение героев к «убийству эрцгерцога»? Что за убийство имеется в виду?*
- *Чем становится война для «сонливца» Ганса Касторпа?*

Томас Манн. Волшебная гора

Он говорил слабым голосом, но много, красиво и горячо о самосовершенствовании человека на путях общественной жизни. Речь его, казалось, шла «голубиной поступью», но когда он касался объединения всех освобожденных народов ради всеобщего счастья, то к ней — хотя он, вероятно, не чувствовал и не хотел этого — примешивалось нечто подобное шуму орлиных крыльев; и это бесспорно делала его страсть к политике... Гуманизм и политика соединились в высокой и торжественной, как тост, идее цивилизации, полной голубиной кротости и орлиной смелости, ожидавшей своего дня, утра народов, когда

принцип косности будет разбит и возникнет священный альянс всей буржуазной демократии... Впрочем, тут чувствовалась некоторая неувязка. Сеттембрини был гуманистом, но вместе с тем и именно потому, — хоть он и не охотно сознавался в этом, — чувствовал в себе воинственность. ...Если человечность вдохновенно сочеталась с политикой, с идеей победы и господства цивилизации, и копье гражданина освящалось на алтаре человечества, — становилось сомнительным, удержит ли он свою руку от пролития крови; а внутренние причины и импульсы все больше содействовали тому, что в возвышенных умонастроениях Сеттембрини элементы орлиной смелости все решительнее оттесняли голубиную кротость.

Его отношение к международным группировкам бывало нередко двойственным, оно затуманивалось сомнениями и неуверенностью. Еще недавно, годика полтора или два тому назад, он высказывал в разговоре с Гансом Касторпом беспокойство по поводу дипломатических совместных действий его отечества (Италии) и Австрии; они, с одной стороны, воодушевляли его, так как были направлены против некультурной полуазиатской страны, против кнута и Шлиссельбурга, а с другой — мучили, ибо это был недостойный союз с исконным врагом, с принципом косности и порабощения народов. Большие займы, которые прошлой осенью Франция предоставила России для постройки железнодорожной сети в Польше, вызвали в нем столь же противоречивые чувства. Ибо Сеттембрини принадлежал к франкофильской партии в своей стране, и тут нечему удивляться, ведь недаром его дед приравнял дни июльской революции к дням сотворения мира; но соглашение этой просвещенной республики с византийскими скифами морально смущало

его, — однако при мысли о стратегическом значении этой железнодорожной сети тягостная тревога сменялась облегчающей сердце надеждой и радостью. Затем произошло убийство эрцгерцога, оно послужило для всех, кроме немецких сонливцев, сигналом тревоги, указанием для понимающих, к которым мы с полным правом можем причислить и Сеттембрини. Ганс Касторп видел, что он как человек содрогается от такого злодейства, но видел также его радостное волнение при мысли о том, что это — деяние народное и освободительное, направленное против ненавистной ему цитадели зла, хотя нельзя было забывать, что акт этот — результат московских усилий. Сеттембрини очень тревожился, что не помешало ему спустя три недели назвать ультимативные требования, предъявленные некоей монархией к Сербии, оскорблением человечества и чудовищным преступлением, — с точки зрения его последствий, в характер которых он был посвящен; но как раз их масон, задыхаясь, приветствовал...

Словом, переживания Сеттембрини были весьма сложными, как и то роковое событие, за быстрым назреванием которого он наблюдал, пытаясь намеками открыть на него глаза своему воспитаннику; однако национальная вежливость и жалость мешали ему высказаться по этому поводу без всяких обиняков.

В дни тоскливого, мучительного, как пытка, ожидания, когда нервы всей Европы были напряжены до отказа, Ганс Касторп не виделся с Сеттембрини. Беснующиеся газеты проникали теперь из глубин равнины прямо к нему на балкон, пронизывали дрожью весь дом, наполняли удушливым смрадом пороха столовую и даже комнаты тяжелобольных и морибундусов. Это были секунды, когда сонливец, очутившись неведомо как на траве лужайки, еще не понимая, что случилось, медленно приподнялся,

потом сел и протер глаза... Но дорисуем эту картину, чтобы верно воспроизвести движения его души. Подобрал ноги, он встал и посмотрел вокруг. Он понял, что расколдован, спасен, освобожден, но не себе обязан этим, как вынужден был со стыдом признаться, а выброшен из прежней жизни внешними силами, для которых его освобождение было делом весьма второстепенным и, так сказать, побочным. Хотя его скромная судьба и исчезала на фоне всеобщих судеб человечества, не выражалась ли и в ней какая-то предназначенная лично ему, а следовательно, божественная доброта и справедливость? Не допустила ли опять к себе жизнь свое грешное и трудное дитя, но без посулов дешевого благополучия, а только так вот — строго и серьезно, через испытание, которое, может быть, означало совсем не жизнь, а три почетных залпа в честь его, грешника? И вот он встал на колени, подняв глаза и руки к небу, — хоть и сернисто-серое, оно уже не было пещерным сводом над Греховной горой.

Пер. с нем. В. Станевич. М., 1959.